

простой констатацией пороков и разных проступков. По сути, такое растворение во всеобщем, объективирование прошлого является отказом от исповеди, отказом, страстно прозвучавшим в этом письме критика Толстому. Страхов и испытывает большую потребность исповедаться перед Толстым, и не может заставить себя коснуться прискорбных эпизодов своей жизни, отдавая предпочтение обобщенному рассказу, очищенному от слишком ранящих («стыд стыда») низких подробностей: «Самое интересное и важное в моей личной жизни есть, конечно, мои пороки и проступки, и то, как я с ними боролся и борюсь. С 1868 года я не знаю женщин и перестал пьянствовать, следовательно, началась для меня не жизнь, а житие, как выражался Писемский. Я пришел тогда в страшное состояние, боялся сойти с ума, и потому бросил все свое распутство и решил оттерпеться, чтобы спасти свой ум. Было трудно, но я уперся и после многих лет почувствовал, что оправляюсь. Эта история моего самосохранения, пожалуй, поучительна. Наши желания и наши чувства от нас не зависят; но не делать того, к чему побуждают нас наши чувства и желания, мы всегда можем. Нужно бы написать об этом, но если успею, то все-таки напишу вообще, а не стану рассказывать своих опытов. По этому правилу я и до сих пор веду себя. Я оттерпливаюсь от дурных мыслей и чувств, не даю им ходу и останавливаюсь только на ясных мыслях и добрых чувствах. Рассказывать эту постоянную борьбу, иногда очень горькую и противную, я считаю вовсе не нужным, не нахожу ее для самого себя занимательной. Зачем копать в собственных извержениях? Может быть, я чаще других подвергаюсь душевному упадку, и этот упадок имеет у меня особый вид — что же из этого? Все-таки лучше прятаться, когда у вас случается понос и рвота. Истинная наша жизнь совершается, когда мы вполне крепки и здоровы душою, и у меня бывают дни и часы такого здоровья».¹⁵¹

Содержало письмо и обычную смиренную просьбу Страхова: «Но довольно, довольно! Простите меня и скажите мне хоть несколько слов в ответ на эти признания. Нужно быть самим собою — этого правила я всегда держался; но Вы — сердцевед и можете указать мне, где я прикидываюсь и ломаюсь».¹⁵²

Толстой в ответе на «чудесное» письмо Страхова никак не стал детально разбирать и оценивать его признания, указывать, где он «прикидывается и ломается» (он уже привык к этому и считал в большой степени проявлениями душевной болезни), но с «правилами» и заключениями критика не согласился, остался при своем мнении: «Письмо ваше лучше всего подтверждает мои слова и опровергает его содержание».¹⁵³

Конечно, Толстой не мог не заметить, что Страхов вновь навязывает ему свое видение личности и творчества Достоевского, которое он оспаривал ранее. Теперь он счел необходимым высказаться резче и определеннее, поставив точку в затянувшемся разговоре: «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! Результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее. — Не только в художественных, но в научных философских сочинениях, как бы он ни старался быть объективен — пускай Кант, пускай Спиноза, — мы видим, я вижу только ум, характер человека пишущего».¹⁵⁴

¹⁵¹ Там же. С. 910—911.

¹⁵² Там же. С. 911.

¹⁵³ Там же. С. 913.

¹⁵⁴ Там же.